

Глава 4

В руках ГБ

Зимой 1944—1945 года, когда я учился уже в экстернате, в доме у моей одноклассницы я встретил однажды мужчину, говорившего с легким иностранным акцентом. Моя знакомая очень смутилась, что я увидел у нее этого человека, и попросила никому о нем не говорить. Были и другие нюансы, показавшиеся мне подозрительными. Короче, я заподозрил в нем немецкого шпиона! Как же, война продолжалась, и везде призывали к бдительности.

Но идти в «органы» все-таки не хотелось, и я обратился за советом к другу отца, инженеру-строителю МВД, очень симпатичному человеку. Если я не путаю, звали его Иваном Ивановичем Безродным. (Он, видимо, был из беспризорных.) С отцом мне тогда не захотелось советоваться: он плохо чувствовал себя и находился в депрессии.

Друг отца, Иван Иванович, выслушав меня, помрачнел и сказал, протянул, что да, надо бы пойти... Но как-то очень тихо это сказал, опустив глаза. Он, видимо, боялся открыто меня предостеречь. Но интонационного намека я не понял. Иван Иванович высказал также предположение, что этот иностранец вряд ли является немецким шпионом. Шпионы говорят без акцента! Скорее всего он гость или сотрудник каких-то советских организаций... Друг отца, возможно, продолжал таким образом отговаривать меня, но я не «врубался».

— А почему моя одноклассница так испугалась? Просила меня никому не рассказывать?

— Возможно, — пожал инженер плечами, — это романтическое стремление к секретам... Бывает у девушек...

Он, видимо, хорошо знал, как опасно связываться с «органами».

Но я все-таки решил пойти. По совету того же Ивана Ивановича я отправился в отделение милиции по месту жительства. Милицейский начальник, даже не дослушав меня, велел дежурному старшине препроводить меня «наверх». Оказывается, в этом же здании этажом выше находилось отделение МГБ.

Там я оказался в комнате, где сидели двое в штатском. Они встретили меня очень приветливо, но к моему рассказу о подозрительном иностранце отнеслись как-то рассеянно. Впоследствии, через год примерно, я вновь увидел моего «шпиона» у той же школьницы и понял, что друг отца правильно предположил, что этот «иностранец» если и был шпионом, то отнюдь не немецким!

Но моему приходу сотрудники МГБ явно обрадовались и... стали уговаривать дать подписку о сотрудничестве с «органами»! Такого поворота я не ожидал и начал увильживать: я, мол, и так, если что замечу, приду к ним. Сопrotивлялся как мог.

— Вы, сознательный советский патриот, и не хотите сотрудничать с нами?! — давили меня чекисты.

— Я же сотрудничаю: вот пришел к вам...

— Так почему же вы не хотите дать подписку?

Я опять свое. Мне в ответ:

— Вы что, не доверяете Министерству государственной безопасности?

Что на это скажешь? Все вопросы-уколы были у них отработаны! Ситуация стала делаться абсурдной. Я сознавал, что упорно уклоняясь от подписки, я восстанавливаю их против себя, и начал ощущать все происходящее как кошмар. Но подписывать их ли-

сток — они мне его все время подсовывали, пододвигали — мне очень не хотелось, и я продолжал талдычить свое, а гебисты — свое! Они брали меня на измор. Уйти-то ведь я не мог! Решительно отказаться, встать и уйти? В сталинские времена это было невысказано!

Я не знаю, сколько времени все это продолжалось, может быть, час, а может, и два. В обморок можно было упасть! В конце концов я просто физически изнемог и сдался, подписал их листок и ушел с чувством, близким к омерзению и к ним, и к себе. Дома я ничего не стал рассказывать, и долго еще держал в секрете свое новое положение.

Почему я так сопротивлялся, так не хотел давать обязательство о сотрудничестве в ту далекую эпоху, когда и я еще был пацаном, и сотрудничество с властями было «делом чести, доблести и геройства», я не знаю. Видимо, уже наглядился на режим, на власть, как-никак видел уже и 37-й год, и ГУЛАГ, да и сам успел пострадать от доноительства.

Меня стали регулярно, примерно раз в месяц, вызывать на конспиративные квартиры. Это были либо пустые конторы каких-то мелких организаций (приглашали меня по вечерам, после рабочего дня), либо жилые квартиры. И мне запомнилось: когда дверь открывали хозяйки квартир, какой испуганный и недружелюбный взгляд они кидали на меня и спешили исчезнуть. Такие встречи были очень неприятны.

Беседовал теперь со мной уже один человек — куратор. Но кураторы часто менялись. И все были на одно лицо — очень серое. И были они какие-то нервные, желчные. Только один, самый последний, был улыбочивый, дружелюбный.

Расспрашивали меня всегда об одном и том же: не видел ли я чего-нибудь подозрительного, каких-нибудь людей, высказывающих антисоветские взгляды или террористические намерения? Особенно требовали сообщать незамедлительно, если у кого-либо обнаружится «незаконно хранимое оружие».

Вызывали также накануне праздников и советовали осматривать всех людей в подъезде и лифте нашего дома: не оттопыривается ли у них одежда от спрятанного оружия?

— С крыши вашего дома виден Кремль! — объясняли мне.

Про себя я поражался: от нашего дома (в Лаврушинском) до Кремля было, наверное, более километра. И почему именно в праздничные дни на это надо было обращать особое внимание? Теперь понимаю: это паранойя распространялась сверху вниз — от Кремля!

Мне также сразу дали понять, что если я о чем-нибудь умолчу, и они узнают об этом от других сотрудников, то это может плохо для меня кончиться. Куратор даже проиллюстрировал это предупреждение анекдотом о еврее, который «сидел за лень». Услышал в компании антисоветский анекдот и поленился «пойти», а Абрамович не поленился. «Так за что же я сидел, как не за лень?»

— Но это анекдот старый, — пояснил куратор. — Теперь за анекдоты уже не сажают...

Для подписания сообщений мне предложили выбрать псевдоним. Я выбрал — Карпов, оттолкнувшись от девичьей фамилии матери — Карповская. Мистика много позже проявилась в том, что в

1972 году, когда я уже ходил в диссидентах, мною заинтересовался, стал приглашать на беседу сотрудник КГБ, представившийся генералом Карповым. То был для меня критический момент, так как все диссиденты, которыми генерал Карпов интересовался, кончали плохо — лагерями.

Дважды мои кураторы хотели меня «внедрить». Один раз предлагали познакомить с какой-то красивой, но «подозрительной» девушкой.

— Знаешь, в постели многие тайны выдаются, — сказал мне, шестнадцатилетнему подростку, куратор.

Я категорически отказался.

В другой раз стали агитировать, чтобы я сблизился с дочерьми поэта Семена Кирсанова, нашего соседа по дому в Лаврушинском. У него были две дочери, близняшки, очень хорошие.

— Это матерый антисоветчик! — сказал мне куратор.

Я вновь наотрез отказался. Я дал подписку сообщать об опасных людях, т. е. только о том, что я мог бы сделать и добровольно, без всякой подписки, но не внедряться, не становиться настоящим агентом, не следить за людьми и т. п. Так я себе говорил. И с моим отказом в МГБ вновь смирились — никаких угроз не последовало. Вероятно, разумно посчитали, что рискованно внедрять человека под давлением: может выдать себя и спугнуть дичь.

Что касается Семена Кирсанова, то он никогда не был арестован. По всей видимости, дело на него заведено было, но ему почему-либо так и не дали хода. Мне был известен случай, когда человека арестовали по делу высокопоставленного писателя Николая Тихонова. Целая группа людей сидела в лагерях за участие в возглавляемой Тихоновым антисоветской группе, а он в это время сидел в президиумах почетных собраний, получал свои ордена и гонорары. Как говорилось тогда тихо: СССР — страна неограниченных невозможностей!

Семен Кирсанов впоследствии стал одним из зачинателей литературы «оттепели», опубликовав в «Новом мире» в 1956 году очень острую поэму «7 дней недели». Запомнилась строфа отсюда: «И чувство локтя оказалось искусством ловко спрятанного когтя...» Тогда же он написал пьесу-поэму «Сказание о царе Максе Емельяне», которую поставила студенческая театральная группа Марка Розовского. На мой взгляд, это была самая яркая театральная постановка за весь «оттепельный» период. Из-за нее труппа Розовского была разогнана. Не помогло ей и то, что одним из актеров был зять Андропова, а другой (мой друг), Александр Филиппенко, «крутил любовь» с дочерью главного редактора «Правды».

Но вернусь к теме. Моя связь с МГБ продолжалась около двух лет или немногим более. Отказываясь от «внедрения», я в то же время по собственному почину два раза приходил к кураторам с «сообщениями».

Один раз после того, как мой одноклассник по экстернату притащил в школу пистолет своего дяди, военного, и показал его мне. Зачем он его приволок в экстернат, ума не приложу! Я побоялся, что он еще кому-нибудь похвастается, и в МГБ это станет известно помимо меня, и сообщил о пистолете куратору. Через день-другой этот оболтус подошел ко мне взволнованный и спросил тихо, не говорил ли я кому-нибудь о пистолете и не мог ли кто-нибудь в классе заметить, когда он его мне показывал? Я, похолодев, ответил отрицательно. Мне он, очевидно, полностью доверял! Он рассказал затем, что его дядю вызвали к начальству и потребовали предъявить оружие. Но племянник накануне положил пистолет на место, и дядя его предъявил. Дяде однако сказали, что у них есть сведения, что его племянник ходил с ним в школу, и сделали серьезный выговор за небрежное хранение оружия.

В другом случае объектом моего доноса был студент химфака МГУ, на который я поступил учиться после экстерната. Этот студент удивительно бесстрашно пропагандировал, что русским надо бы следовать идеям нацизма, что война с Германией была большой ошибкой, Рос-

сии надо было с Германией объединиться и вместе разгромить Англию и США, враждебные России, руководимые евреями государства.

Несколько студентов, и я в том числе, подняли вопрос об этом пропагандисте на факультетском комсомольском собрании. Такая пропаганда была в то время особенно шокирующей, тем более для людей, к национальности которых я принадлежал. Дело, напомним, происходило в первый послевоенный год.

Факультетское собрание проходило очень бурно, нервно. С одной стороны, открывались все новые подробности пронацистских разглаговольствований студента. У меня и у многих мелькала мысль, не сумасшедший ли этот парень? Но, с другой стороны, все, кто выступал с разоблачениями, понимали, что вколачивают гвозди в гроб этого студента, и нервничали. Все же тогда знали, чем может закончиться подобное собрание-проработка для прорабатываемого.

Я, выступая на собрании, понимал, что мне придется сообщить куратору о злополучном пропагандисте нацистских «идей», и хотел своим гласным выступлением продемонстрировать свою независимость от органов. Но когда я потом сообщал обо всем происшедшем моему куратору, то с огромным удивлением заметил нараставшее раздражение, с которым он слушал меня.

— Это все несерьезная, обывательская болтовня, фрондерство, — сказал он мне. И меня осенило: это, наверное, опять (как и с «немецким шпионом») их человек! Провокатор, возможно. И дальнейшие события подтвердили мою догадку. Парня того даже не исключили из комсомола, только перевели на другое отделение, и мы с ним больше не сталкивались.

А однажды я фактически попался на недонесении. В нашем подъезде жил драматург Николай Погодин, и я находился в приятельских отношениях с его сыном Олегом. Однажды он появился передо мной с пистолетом, который, по его словам, у кого-то купил. Я решил не сообщать об этом. Я уже думал о том, как бы мне закончить «сотрудничество» с органами. Но через какое-то время стало известно, что сын Погодина пытался покончить с собой с помощью этого пистолета. Целил в сердце, но рука дрогнула, и он попал в селезенку, которую пришлось удалить. Стрелялся якобы из-за того, что его любимая девушка покончила с собой.

После этого я уже пошел к куратору и рассказал ему о покушении на самоубийство погодинского сына, но, естественно, умолчал о том, что ранее видел его с пистолетом. Однако на следующем свидании куратор вдруг сообщил мне, что сын Погодина дал в больнице показания, что он демонстрировал мне пистолет! Я с упавшим в пятки сердцем ответил, что он, Олег Погодин, ошибается, наверное, запомнил... Меня отпустили, выказав, однако, сомнение в правдивости моих слов и уведомив меня, что дело будет дальше расследоваться.

— Знай мы об этом пистолете заранее, можно было бы не допустить попытки самоубийства! — попенял мне гуманист-куратор.

Потом в доме стало известно, что купил Олег пистолет у знакомого уже читателю Славы Бобунова. Бобунов-отец сказал мне, что многосильный Погодин (Сталин благоволил к нему!) «вытаскивает» своего сына (от ответственности за владение оружием), «но он вытащит и моего Славу, иначе я ему устрою такую «козу», что он не обрадуется. У меня есть, что сообщить о его сыночке!» — горячился Бобунов старший. И Погодин таки «вытащил» обоих! Возможно, и меня ненароком спас. Не наказывать же меня, если два главных фигуранта избежали наказания.

В порядке отступления мне хотелось бы сказать еще несколько слов об этих двух персонажах моего рассказа — Вячеславе Бобунове и Николае Погодине, чтобы читателю яснее была картина нравов и типов того времени.

Слава Бобунов, или Бобун, как его звали все в округе, до эпизода с продажей пистолета Олегу Погодину два раза еще во время войны появлялся в Москве, в лаврушинском доме писателей. Первый раз он приехал с «фронта» в качестве генеральского адъютанта — разжиревший, самодовольный, наглый, рассказывал напропалую о своих амурных похождениях. Второй раз, уже в самом конце войны, он появился вдруг облезший, худой, злой. Оказывается, подцепил сифилис в Польше и проходил лечение на каком-то острове в Балтийском море (забыл название), на который по распоряжению Сталина свозились все жертвы любовных приключений «армии освободительницы».

Сифилисом Бобуна наградила в Польше красавица полька, как он объяснял. Поняв, что влип, он подговорил-подпоил нескольких солдат из охраны генерала, и они пошли на квартиру к польке, чтобы пристрелить ее! Но она, «стерва», куда-то уже смылась, и Бобун остался неотомщенным. Пистолет он продавал Олегу Погодину, уже будучи демобилизованным.

Примечательным типом был и Николай Погодин, любимый драматург Сталина, автор «Кремлевских курантов». Он не уступал в «проходимости» Бобунову-старшему. Сегодня из него мог бы выйти хороший олигарх! Дача Погоина в Переделкино была настоящим помещичьим хозяйством. Мычали коровы в хлеву, стаями бегали по участку поросята. Погодин умудрялся доставать такие вещи, которых тогда ни у кого в Москве не было. У Погодина, например, первого в Москве появился заграничный американский телевизор, холодильник, радиокоробейн. Помню, как однажды он, помогая своему сыну сменить в комбайне перегоревшую лампочку, внушал нам, что «лампочку, как и бабу, надо брать за цоколь!». При этом он был, похоже, постоянно в подпитии — всегда слегка пошатывался. «Папа пишет!» — усмехаясь, показывал Олег на батарею пустых бутылок, выставленных за дверь отцовского кабинета. По внешности Н. Погодин походил на купца первой гильдии, был крупным мужчиной и ходил зимой в меховой шубе с пышным воротником.

При всем при том Николай Погодин состоял в таких доверительных отношениях с чекистским ведомством, что ухитрился еще во время войны купить машину прямо из рук тогдашнего американского посла Буллита! Это был огромный «бьюик», таких больших машин в Москве еще не видели. Говорят, что когда Погодин ездил на этом «бьюике» по Москве и его шофер нажимал на знаменитый клаксон «бьюика», издававший какой-то невысказанный королевский рев, милиционеры с испугу брали под козырек и пропускали машину, не считаясь с правилами. Напомню, что нормальных людей, даже именитых, тогда за несанкционированную связь с иностранцами прямым ходом отправляли в лагерь.

От Олега я также узнал, что отец его содержал на регулярной оплате какого-то военного летчика, командира самолета, который привозил Погодину всякие диковинные товары с оккупированных территорий. Один раз он брал Олега на своем самолете в Румынию!

Но самый высокий пилотаж Погодин продемонстрировал в начале антикосмополитической кампании. Кампания эта началась в 47-м году большой статьей Александра Фадеева (он тогда возглавлял Союз писателей) в «Литературной газете». Статья была, разумеется, заказная, но Фадеев, стремясь, видимо, сохранить лицо честного человека, в качестве главного «космополита» выставил Николая Погодина, цитируя его ругательские высказывания о советских драматургах (его, Погодина, конкурентах!).

Все писатели замерли: что же теперь будет?! Но вскоре же появилась статья в «Правде», в которой Погодин был взят под защиту и, мало того, представлен как главная жертва критиков-космополитов с еврейскими фамилиями! Тогда, между прочим, была введена практика раскрытия псевдонимов: если у «космополитов» были русские псевдонимы, то в скобках обязательно печатались их еврейские фамилии!

После статьи в «Правде» в защиту Н. Погодина все писатели на мраморных ступенях нашего подъезда почтительно расступались перед ним, когда он, пошатываясь, вылезал из своего «бьюика», и были счастливы пожать ему руку, точнее, два пальца. Между прочим, Погодин — это был его псевдоним. Настоящая фамилия была — Стукалов!

Но вернусь к своему рассказу. С началом кампании против «космополитов безродных» пошли аресты среди студентов и преподавателей еврейской национальности. На мехмате арестовали нескольких студентов-евреев за «сионистскую пропаганду», причем взяли их на военных сборах, а у нас на химфаке сначала арестовали нашего декана, «сиониста» Баландина, выдающегося ученого, а потом двух студентов-евреев за то, что они выпили за его здоровье на вечеринке. Пили за этот тост все, но арестовали только двоих «инвалидов по пятому пункту», как тогда говорили.

Примерно в тот период у меня созрело окончательное решение прекратить связь с МГБ. И не только из-за антисемитской кампании. Мне стало в тягость мое двойственное положение, необходимость скрывать от людей мое сотрудничество с МГБ. Мне шел уже восемнадцатый год, и я быстро вырос.

Когда меня вызывали кураторы, я подчеркнуто лаконично сообщал им, что ничего подозрительного вокруг себя не вижу.

— Ничего не видите?

— Ничего.

— Ну что ж, так и напишите! — говорили они мне со скрытой угрозой. Я удивлялся, о чем мне писать, если мне не о чем сообщать?

— Вот об этом и пишите! — говорили мне и подвигали бумагу. — Пишите: «Источник сообщает, что за истекший период им не было замечено никаких антисоветских действий, высказываний или террористических намерений».

И я уже отказывался иногда приходить на беседы, ссылаясь на занятость учебой. Приходил, что называется, через раз.

Они, конечно, понимали, что я стремлюсь от них освободиться, уйти. И однажды меня попытались припугнуть:

— Странно, сейчас такое напряженное время, такой накал борьбы со скрытыми недобитыми врагами и идейными агентами Запада (это куратор так вежливо высказался при мне о евреях-«космополитах»), а вы, сын старого большевика, ничего не замечаете?! Очень странно!

В свое оправдание я говорил, что мне тяжело дается учеба в МГУ и поэтому не остается времени, чтобы бывать в компаниях, в обществе, заводить знакомства. Наверное, мол, поэтому я ничего подозрительного и не замечаю.

Но я продолжал демонстрировать свое нежелание сотрудничать с органами, и с какого-то момента меня перестали приглашать на беседы. Инфантильность помешала мне тогда до конца осознать опасность этой ситуации. От мести МГБ меня спасло, вероятнее всего, имя отца. Однако я подозреваю, что их месть выразилась в том, что после окончания университета (в

52-м году) я остался без работы. Правда, почти все евреи, заканчивавшие учебу в те годы, имели тяжелейшие проблемы с устройством на работу, но детям известных или привилегированных «еврейских родителей», так сказать «ценных юде», все же делалось часто исключение. Мне — не сделали. Позже, в 60-е годы, я подружился с писателем Юрием Домбровским, в прошлом узником сталинских лагерей и знатоком «органов», и он подтвердил, что чекисты, без сомнения, отомстили мне при распределении, и если бы не отец, меня бы еще раньше почти наверняка арестовали за уклонение от сотрудничества. Нашли бы повод.

Я должен отметить в заключение, что я не стыдился своего сотрудничества с органами и рассказывал о нем близким людям: меня вынудили к сотрудничеству, и я был тогда еще незрелым человеком и в какой-то мере продуктом сталинской эпохи с ее культом бдительности.

Но «общение» с МГБ очень усилило мое отторжение от сталинского строя жизни, при котором человек становился либо жертвой, либо палачом. Как писала Надежда Мандельштам: «Одна половина народа сидела в лагерях, а другая — строчила доносы!». И как читатель, наверное, догадывается, эта история еще не раз давала о себе знать в дальнейшей моей жизни.

А теперь я хочу сделать комментарий к главной теме этой главы, глядя из сегодняшнего дня.

Зачем негодяям из МГБ надо было вербовать меня, 16-летнего подростка? Им было мало миллионов штатных сексотов и десятков миллионов завербованных осведомителей? Ведь они прекрасно понимали, что работа осведомителя, соглядатая особенно сильно разрушает не созревшую еще личность.

Вы скажете — для плана, для звезд на погоны. Все это верно, но не до дна! В конце 60-х годов, готовясь к бегству на байдарке из Эстонии в Швецию, я некоторое время путешествовал по Эстонии, искал место получше и побезопаснее для отплытия. И судьба свела меня с интересным человеком — главой местного союза журналистов и редактором главной эстонской партийной газеты Августом Сыромяги. Он проникся, видимо, ко мне доверием и был весьма откровенен. Чтобы понять, как это было возможно, надо знать, что представляли собой эстонцы и их партийное руководство и какова вообще была атмосфера в этой республике. Приведу только один факт. Сыромяги как-то пригласил меня к себе в редакцию и попросил подождать в его приемной, пока он освободится. В приемной стоял телевизор, и я спросил разрешения включить его, но Август, немного смутившись, сказал мне, что антенна его телевизора направлена на... Хельсинки! Это, напоминаю, в приемной редактора главной партийной газеты! И радио у него в машине всегда было настроено на Финляндию, при том что за рулем сидел не он сам, а шофер. (По тем временам обязательно сотрудник КГБ!)

Так вот, у нас с Сыромяги как-то зашел разговор о сталинском терроре и стукачестве, и он, между прочим, сказал мне, что у них в республике существует негласное правило не привлекать к осведомительству школьников. Это нехорошо действует на молодежь, и в молодежных коллективах создает нездоровую атмосферу, объяснил он мне.

Так что в России дело было не только в строе, но и в традиционном пренебрежении к человеческой личности.